

И. Г. Добродомов

ПРОБЛЕМА ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ ДОСТОВЕРНОСТИ МАТЕРИАЛА В ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Хотя самый главный источник исторических сведений — слово (в виде нарративных, документальных, эпиграфических и т. п. текстов), историки, как это ни парадоксально, мало обращают внимания на слово как таковое, передоверяя лингвистическую часть источниковедческой оценки материала языковедам, а последние не очень готовы дать источниковедческий анализ памятников письменности для исторических целей. В связи с этим информационные возможности текстовых источников используются недостаточно полно, а иногда и некорректно.

Рассмотрение этой проблемы удобнее всего начать с попыток использования древних текстов для исторических целей, с обращения к данным письменных памятников в качестве исторического источника как показателям былых исторических явлений. Надо сказать, что этот аспект касается наиболее тонкого вида исторического исследования, когда лингвистический анализ самым тесным образом переплетается с историческим и точность результатов зависит от точности как языковедческого, так и исторического аспекта исследования.

Ярким примером игнорирования подлинных тонкостей текста и примирения с некоторыми несуразностями поспешного прочтения является некритическое использование фразы об обычае похищения невест в старинном семейном быту древлян и других восточнославянских племен в эпоху язычества: **и брака оу нихъ не бываше, но ѹмыкиваху оу воды дѣвциѹ**¹ — из этнографического введения к Повести временных лет, где фактически речь идет не об **ѹмыкивании оу воды** (т. е. *от воды*), а об *уводах* (творительный падеж множественного числа **оуводы** от существительного мужского рода **оуводъ**)², попавшей в приблизительном прочтении во многие пособия о жизни старого славянства типа книги Любора Нидерле «Славянские древности» (М., 1956. С. 186) без каких-либо сомнений в корректности традиционного прочтения.

Никакой воды нет при описании аналогичных обычаев у радимичей, вятичей и северян: **брати не бываху в нихъ, но игрища межу селы, схожахуся на игрища, на плясанье и на вся бѣсовская пѣсни, и ту ѹмыкаху жены себе, с нею же кто ствѣщашеся**³.

¹ Повесть временных лет. М.; Л., 1950. Ч. I. С. 15.

² Такое прочтение есть в «Материалах для словаря древнерусского языка» И. И. Срезневского (Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка. СПб., 1903. Т. III. Стб. 1122) под знаком вопроса, а также в реконструкции А. А. Шахматова (Шахматов А. А. Повесть временных лет. Т. I: Вводная часть. Текст. Примечания. Пг., 1916. С. 13). Однако в неоконченном ПСРЛ (ПСРЛ. Т. II. Вып. 1. 3-е изд. Пг., 1923. Стб. 10. Л. 6 об.) оставлено старое чтение *оу воды*, которое было исправлено на *оуводы* А. А. Шахматовым уже во 2-м издании (СПб., 1908. С. I четвертой пагинации) в списке «Замеченные опечатки». Слово *оуводъ* отсутствует в словоуказателе (Творогов О. В. Лексический состав «Повести временных лет». Киев, 1984).

³ Повесть временных лет. Ч. I. С. 15.

Здесь современное русское языковое сознание не видит аналогии так называемому множественному числу наречий типа *верхами*, которые сохранились сейчас исключительно в народном языке и довольно слабо отражаются в языке книжном, где они прочно вытеснены формами единственного числа типа *верхом*⁴ с более четко выраженными наречными свойствами неизменяемости. Конечно, в летописи отразился этап, предшествующий формированию таких наречий образа действия: множественное число существительного здесь хорошо соотносится не только со множественным числом сказуемого *ҮМЫКНВАХҮ* неопределенно-личного предложения, но с аспектуальной характеристикой многократности, присущей имперфекту как своеобразной глагольной категории аналогичной множественности существительного.

При неучете всего этого от историков ускользает важный термин *ҮВОДЪ*, относящийся к области семейного права и обозначающий умыкание невест.

Затруднения могут вызывать даже целые более или менее компактные группы слов, особенно не имеющие славянских корней и представляющие собой эфемерные словарные проникновения из других языков, как это обстоит, например, с довольно плохо изученными заимствованиями из отдельных тюркских языков, спорадически попадающимися в памятниках письменности и затрудняющими историков. К интерпретации этих слов должны привлекаться материалы того языка, откуда произошло заимствование, а в случае отсутствия материалов по этому конкретному языку — материалы родственных языков. Это особенно важно применительно к многовековым контактам русского языка с многочисленными, но до сих пор плохо изученными тюркскими языками. Этимологический подход к слову позволит прояснить суть явлений, скрытых в тексте и непонятных из-за неординарных слов, взятых из другого мира, хотя и соприкасающегося с древнерусским.

Тюркизмы русского языка и его письменных памятников получили предварительную словарную систематизацию в вышедшем почти три десятилетия назад «Словаре тюркизмов в русском языке» Е. Н. Шиповой (Алма-Ата, 1976. С. 444).

Однако нужно помнить, что этот словарь отличается не критичностью и включает в свой состав много нетюркского материала, но в то же время тюркский материал представлен в нем не полностью, особенно применительно к письменным источникам, которые на предмет выявления тюркизмов изучены недостаточно.

Проблема анализа тюркских лексических элементов в письменных источниках Древней Руси неоднократно ставилась исследователями и решалась более или менее успешно на сравнительно ограниченном материале, но и то с помощью классических трехтомных «Материалов для словаря древнерусского языка по письменным памятникам» И. И. Срезневского (СПб., 1893, 1895, 1903, доп. 1912), хотя это капитальное издание охватывает древнерусскую лексику лишь частично и преимущественно применительно к древнейшему ее слою⁵.

В словаре И. И. Срезневского довольно плохо отражена лексика памятников деловой письменности XVI–XVII в., которые дошли до нас в очень большом количестве и представляют большие трудности для исследования с точки зрения лексики преимущественно терминологического характера. Насыщенность этих текстов непонятными современному читателю словами, среди которых попадаются и тюркизмы, не сохранившиеся в современном русском литературном языке и диалектах, часто препятствует правильному осмыслению текста. Ключ к пониманию соответствующих мест приходится искать в таких случаях за пределами русского языка этимологическими способами. В этих поисках семантики такого рода слов от исследователя требуется хорошее знание не только тюркских языков того времени, но и истории русского языка, а также известной начитанности в русских текстах того же времени. При поисках этимологического решения для загадочных слов

⁴ Чернышев В. И. Правильность и чистота русской речи. 3-е изд. СПб., 1914. С. 182. § 395.

⁵ Призванный заменить его многотомный «Словарь русского языка XI–XVII в.» охватывает сейчас лишь около трех четвертей алфавита (Словарь русского языка XI–XVII в. М., 1975–2002. Вып. 1–26).

приходится привлекать самый различный материал из разных источников и решать множество попутных вопросов, особенно в случаях ошибочной трактовки трудных для анализа мест у первых исследователей текстов. Преодоление старых живучих ошибок требует особо больших усилий на базе большого материала, который не укладывается в рамки поспешных заключений.

Здесь представляется целесообразным остановиться на нескольких случаях употребления в старинных русских текстах отдельных тюркизмов, а также других слов, вызвавших затруднения у исследователей, и показать пути к правильному объяснению их семантики на основе тюркского материала, что обеспечит правильное использование источника.

Хорошо известны трудности, которые испытывают исследователи подчас даже при знакомстве с самыми незамысловатыми текстами, восходящими и к не столь уж далекому прошлому, причем трудности эти подчас касаются сразу нескольких слов в одном контексте. Например, в одном из простейших перечней товаров, которые шли из Астрахани с индийским купцом в 1680 г., встречаем совершенно неизвестное слово *ипарь*: «А товару с ним: 4 половинки сукна кармазину, 25 зеркол малой руки, 6 аршин сукна дикого, портище стамеду, полтора пуда сахару головного, 4 мешка заечинных, 7 шапок белых, шуба корсачья, полфунта ипару»⁶. Пока не касаясь совершенно неизвестного слова *ипарь*, которое весьма затруднило издателей цитированного сборника, поместивших в «Терминологическом словаре» при сборнике малоинформативную справку, не дающую никаких уточнений: «Ипар — товар, значение которого не установлено»⁷, — следует обратить внимание, казалось бы, на понятное слово *половинка*, которым именовалась особая мерная торговая единица для сукна. Размеры *половинки*, по данным исторической метрологии, колебались от 17 до 44 аршин для разных сукон. Такой же размер был характерен и для другой торговой мерной единицы при торговле сукном — для *поставы*, длина которого, по подсчетам тех же исторических метрологов, составляла тоже примерно 20–40 аршин⁸. Несмотря на приблизительное равенство *половинки* и *поставы*, не имевших, однако, вполне определенной длины, специалисты по исторической метрологии, как бы подсознательно учитывая современную семантику слова *половинка*, делают на основании подобного рода этимологических ассоциаций несколько неожиданные выводы: «Возможно, что отношение между поставом и половинкой было отношением 1:2. Именно такое отношение между поставом и половинкой заставляет предполагать одна из записей в таможенной книге Устюга Великого за 1633/34 г. 8 октября 1633 г. гостиной сотни торговый человек Никифор Федоров Ревякин вместе со своим племянником Калиной Исаковым Ревякиным приплыли из Архангельска в Устюг Великий и явили привезенный товар, среди которого оказался “31 постав с половинкою сукон аглинских”»⁹.

Употребление названия *половинка* применительно к *поставу* сукна связано с пережитками старого обычая считать и продавать штуки сукна парами, как это возникло ранее и применялось последовательно по отношению к козам. Подобный обычай исчислять ткани парами зафиксирован, например, у древних уйгуров, которые в качестве названия для единицы измерения бязи употребляли выражение *iki baï* дословно «два узла, две кипы», которое даже приобретало несколько непривычный вид в сочетании с числительными: *iki iki baïböz* «две пары кип бязи»¹⁰. Здесь мы едва ли должны видеть генетическую связь между обозначениями на Руси и у древних уйгуров торговых единиц для измерения тканей. Скорее речь идет здесь о типологических параллелях.

Подыскание типологических параллелей в области терминологической номинации помогает лучше осмысливать содержание различных не вполне понятных слов из древних памятников письменности. В свете древнеуйгурской аналогии содержание торговых терминов *поставъ* и

⁶ Русско-индийские отношения в XVII в. Сборник документов. М., 1958. № 202. С. 296.

⁷ Там же. С. 396.

⁸ Каменцева Е. И., Устюгов Н. В. Русская метрология. М., 1975. С. 158–160.

⁹ Там же. С. 160, со ссылкой на издание: Таможенные книги Московского государства. Т. I. М.; Л., 1950. С. 56. Л. 103 об.

¹⁰ Nobuo Y. Four notes on several names for weights and measures in Uighur documents // Studia turcica. Edidit L. Ligeti. Budapest, 1971. P. 495–496.

половинка должно быть признано одинаковым, но для приведенной Е. И. Каменцевой и Н. В. Устюговым цитаты: «31 постав с половиною сукон аглинских», — из таможенной книги Устюга Великого, где *поставъ* и *половинка* фигурируют рядом, в последнем едва ли допустимо признать какую-то возможность уже современного значения 1/2, а не старинное терминологическое. Стоит думать, что *поставъ* восходит к производственной, а *половинка* к торговой терминологии, но хорошо известная взаимная проницаемость традиционных терминологических систем вызвала затруднения при идентификации этих слов.

Называние одного из двух парных предметов половиной, половинкой, вероятно, связано с плохо разработанной в русистике проблемой финно-угорского вклада в русский язык и проблемой реконструкции исчезнувших финно-угорских языков. Здесь можно назвать только одну крупную работу киевского слависта О. Б. Ткаченки по проблемам реконструкции мерянского языка¹¹, но и там проблема названия одного из двух парных предметов половиной не рассматривалась, поэтому постараемся подробнее обосновать возможность проявления в этой сфере языковой номинации финно-угорского влияния, в том числе и мерянского субстрата в русском языке применительно к Русскому Северу.

В системе современной русской фразеологии имеются две пары синонимических фразеологизмов для обозначения невнимательного ненапряженного слушания или рассматривания: *слушать (слышать) вполуха* и *слушать (слышать) одним ухом* и, соответственно, *смотреть (видеть) вполглаза* и *смотреть (видеть) одним глазом*. Эти выражения обозначают незаинтересованное, рассеянное слушание и рассматривание, причем в выражениях *слушать (слышать) одним ухом* и *смотреть (видеть) одним глазом* есть логика, которая начисто отсутствует у загадочных синонимических им фразеологизмов *слушать (слышать) вполуха* и *смотреть (видеть) вполглаза*. Как это можно применять только половину органа чувств? Почему не треть или не четверть? На эти вопросы невозможно ответить, если не учесть полную синонимичность этих выражений и то обстоятельство, что многие финно-угорские народы для обозначения парных предметов (особенно парных органов человека и животных) употребляют единственное число, а для обозначения только одного из парных предметов употребляется это же название в сочетании с названием «половины»¹². Например, *szem* по-венгерски обозначает «глаза» (т. е. два глаза, пару глаз), а для названия одного глаза употребляется сложное слово с первым элементом *fél* «половина» — *félszem*, буквально «полглаза», *fül* «уши» (пара) — *félfül* «одно ухо», буквально «пол-уха». Аналогичная картина наблюдается, например, в родственном венгерскому марийском языке: *пелинчá* «один глаз» (*пéле* «половина» + *шинчá* «глаз, глаза»), *пелы́льши* «одно ухо» (*пéле* «половина» + *пы́льши* «ухо, уши»).

Конкретизация финно-угорского образа «половины глаза» при невнимательном разглядывании или «половины уха» при невнимательном слушании отразилась в русской фразеологии как *смотреть краем глаза* или *слушать краем уха*. Здесь уже исчезает загадочная математичность. Этот же самый принцип был положен в основу названия легкой телеги на двух колесах: *одноколка* (или *одноколеска*) — с одной осью (обычно на одной оси бывает пара колес, которая рассматривается как единое целое). В. И. Даль в своем «Толковом словаре живого великорусского языка» справедливо покритиковал с точки зрения современной логики это название: «*Одноколéска, одноко́лка* вернее бы *двуколка, двуколая тележка* разн. вида...»¹³ Название *двуколка*, действительно, более логично.

Вероятность предложенного объяснения до какой-то степени подтверждается фактом единства внутренней формы по крайней мере у двух фразеологизмов и одного слова (*одноколка*), что можно

¹¹ Ткаченко О. Б. Мерянский язык. Киев, 1985.

¹² Основы финно-угорского языкознания (вопросы происхождения и развития финно-угорских языков). М., 1974. С. 219–220, 229.

¹³ Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1955. Т. II. С. 653. Ср. ошибочное объяснение, связанное с двойственным числом: Ширшов И. А. Теоретические проблемы гнездования. М., 1999. С. 115.

связывать с загадочным, впрочем, мерянским источником. Аналогичные явления можно найти и в письменных памятниках русской старины, где некоторые факты остаются непонятными, если не учесть финно-угорский способ называния одного из двух парных предметов.

Финно-угорский способ называния одного из парных предметов половиною можно найти и в памятниках письменности. В XVII веке, когда заимствованное из немецкого языка слово *пара* еще не получило достаточно широкого распространения, пара сошников (лемешей, ральников), составлявшая комплект для сохи, именовалась просто *сохой*: «куплено <...> пятьдесят сохъ лемешовъ бес присоховъ», «куплено <...> лемешей двенадцат(ь) сох», «две сохи ральников»¹⁴. Зато один из сошников именовался *полу сохою*: «Да 23 сохъ съ полусохою ральниковъ»¹⁵.

Словообразовательно-этимологическая прозрачность старинного наименования меры тканых материалов *половинка*, употреблявшегося (наряду с *поставъ*, *косякъ*, *кипа*) преимущественно применительно к сукнам, заставляет навязывать этому слову этимологическую семантику половинности (1/2). Однако надо учесть, что В. И. Даль в прошлом веке не противопоставлял по величине *половинку* «кусок, конец известной меры» и *постав* «целая штука, конец, стар. половинка сукна; у крестьян трубка ткани, как она снята со стану»¹⁶, даже до какой-то степени отождествляя их. О практическом тождестве метрологических наименований *половинка* и *поставъ* говорят уже упомянутые данные исторической метрологии: размеры половинки колебались от 17 до 44 аршин, а средняя величина постава определяется в 20–40 аршин¹⁷. Соотношение между половинкою и поставом как 1:2, диктуемое внутренней формой слова, фактически не может быть подтверждено, а противопоставление между этими единицами, встречающееся в текстах (31 постав с половинкою сукон аглинских)¹⁸, заставляет искать иное соотношение между мерными понятиями *половинка* и *поставъ* — аналогичное соотношение *кожа* и *юфть* (16 юфтей с кожей кож красных)¹⁹, т. е. *кожа* и *пара кож*, поскольку кожи обычно продавались парами. Дело заключается в том, что *поставъ* был одним из специализированных названий пары предметов: В. И. Даль отмечает *постав мельничный* «снасть, стан, каждая пара жерновов»²⁰, чему в старых источниках соответствует *юфть жерновов* — верхний и нижний²¹. В ряд специализированных названий для пары различных однородных предметов входили: *юфть* (кожи; стрелецкий хлеб: четверть ржи и четверть овса; жернова, сережное каменье, рукавицы, сапоги, фаты и т. п.), *обувь* (сапоги, поршни и т. п.), *дружка* (лапти), *коромысло* (ведра), *версталь* (кожи) и т. п. Универсальное слово *пара* известно с XVI в., но вытеснило все эти слова не скоро.

Кроме этих уже учтенных словарями и трудами по русской исторической метрологии названий для парных предметов, можно назвать несколько специфических названий для пары рогов, которые отмечены в русской письменности XVII в. Как свидетельствуют материалы «Книги записной мелочных товаров» Большой Московской таможни за четыре месяца 1694 г. применительно к

¹⁴ Котков С. И. Как обходились без слова *пара*? // Русская речь. 1982. № 6. С. 104.

¹⁵ Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1990. Вып. 16. С. 254 (вопрос к значению «один из ральников двухсошниковой сохи», данному при цитированном выше примере под словом *полсохи*, должен быть снят).

¹⁶ Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. III. С. 254, 342.

¹⁷ Каменцева Е. И., Устюгов Н. В. Русская метрология. С. 150–160.

¹⁸ Таможенные книги Московского государства XVII в. М.; Л., 1950. Т. I. С. 56. Л. 103 об.

¹⁹ Там же. Т. I. С. 29. Л. 42 об.

²⁰ Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. III. С. 342.

²¹ Веселовский С. Б. Сошное письмо. М., 1915. Т. I. С. 169, прим. 3.

²² Сакович С. И. Из истории торговли и промышленности России конца XVII в. // Труды Государственного исторического музея. 30. М., 1956. Вып. С. 14, 16, 91. Впрочем, слово *гнездо* в значении «пара» употреблялось и по отношению к ведрам (см.: Материалы по истории Узбекской, Таджикской и Туркменской ССР. Л., 1932. Ч. I. С. 367, 369, 452), хотя обычно применительно к паре ведер фигурирует слово *коромысло*.

паре рогов употреблялись разные названия: 100 *животин* рогов бычьих (у вязьмитина), 700 *голов* рогов коровьих (у смолянина), 14 *гнезд* рогов козлиных (у тверитина)²².

Термин *половинка* в качестве названия одного куса ткани отражает пережиточное приравнивание тканых материалов к кожам, парная продажа которых вполне оправдана. Такая практика, как уже отмечалось, имеет типологическую параллель, например, в уйгурских документах, где в качестве единицы измерения бязи выступает выражение *ики баг*, дословно «две кипы, два узла» и в контексте перед этим названием употребляется еще одно числительное *ики ики баг бёз*, дословно «две две кипы бязи». Но русская модель была несколько иной: она построена не по тюркскому, а по финно-угорскому образцу, где постоянно парный предмет рассматривается как нечто единое, а один из пары как половина.

Памятники русской письменности фиксируют употребление слов *половина*, *половинка* также применительно к мехам и сшитым из них отдельным полотнам²³.

Вполне уместно думать, что употребление термина *половина*, *половинка* применительно к одному из парных предметов возникло в русском языке под влиянием финно-угорских языков и может рассматриваться как влияние мерянского субстрата: исчезнувший мерянский язык дал внутреннюю форму (образ) для целого ряда слов и выражений и слов в связи с обозначением парных предметов или этой пары.

Все разобранные здесь примеры называния парных предметов и одного из них представляют большой интерес для истории русской семантики, а также для выявления остатков финно-угорской языковой ментальности в русском образе мыслей. В связи с этим следовало бы разобрать семантику слов типа *полбелки*, *полбобра*, *полкуны* и т. п. в области фискальной терминологии и в области мехового дела. При этом анализе, вероятно, было бы полезным опираться на старинный денежный счет восточных финно-угорских народов, памятуя, однако, что этот счет зафиксирован этнографами в позднее время, когда в России начал уходить в прошлое параллельный счет денег на серебро и ассигнации, но в нем, вероятно, пережиточно отразился довольно древний способ учета меховых ценностей, перенесенный также на металлические деньги и ассигнации, но с употреблением названий белок для обозначения ассигнационных копеек²⁴.

Надо сказать, что подобная система денежного счета была, вероятно, и у русских: ее осколок в виде названия двухкопеечной монеты *семитка*, *семишник* зафиксирован даже весьма неполным «Словарем современного русского литературного языка». Любопытно также зафиксированное у В. И. Даля казанское диалектное *кокур* «грош, деньги» с примером *собирать кокуры* «обманывать черемис и чуваш, выманывать деньги»²⁵.

Что касается самого загадочного в списке слова *ипар*, о котором упоминает процитированный уже документ 1680 г. из того же самого сборника «Русско-индийские отношения в XVII в.», то его значение, не восстанавливаемое из контекста, можно выяснить гораздо проще, чисто этимологической методикой, путем подыскания хорошего соответствия в других языках. Поскольку в русской лексикографической традиции, в том числе и в многотомном «Словаре русского языка XI–XVII вв.», слово *ипар* не фиксируется, быстрое наведение справок о семантике термина *ипар* затрудняется без привлечения материала других языков. Кажется, нет помех против отождествления

²³ Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 16. С. 221–282.

²⁴ Беке Э. Беличья система валюты у мари // Acta linguistica Academiae scientiarum Hungaricae. Fase. 1. Budapest, 1951. Т. I. С. 65–74; Räsänen M. Beiträge zu den altaisch-slavischen Berührungen // Commentationes finno-ugrae in honorem Y. N. Toivonen (=MSFOu, XCVIII). Helsinki, 1950. P. 127–129.

²⁵ Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. II. С. 135; в качестве чувашского это слово определено здесь ошибочно: это марийское слово (сейчас устарелое) *кокур* «полкопейки» (букв.: две белки), грош» = *кок* «два, две» + *ур* «белка; устар. денежка, копейка», *ыр* «копейка» (Марийско-русский словарь. М., 1956. С. 206, 208, 631, 764). Ср.: Саваткова А. А. Словарь горного наречия марийского языка. Йошкар-Ола, 1981. С. 58: «кокур, кокур (устар.) “две копейки” (семишник)».

²⁶ Räsänen M. Versuch eines etymologischen Wörterbuchs der Fürksprachen. Helsinki, 1969. S. 201 a–b.

загадочного названия товара *ипар* с тюркским *йыпар*, *ыпар* и т. п., обозначающим «мускус» (с рядом переносных значений)²⁶. Следовательно, в данном случае речь идет о вывозе из Астрахани в Персию и Индию мускуса, но степень типичности этого случая надо выяснять на основе других документов аналогичного содержания.

Следует подчеркнуть, что прибегать к этимологизации исследователь лексики старых текстов может лишь в крайнем случае, когда исчерпаны возможности контекстного анализа и слово не удалось обнаружить в других текстах или же в словарях, отражающих лексику того же времени. Например, в уже упоминавшемся «Терминологическом словаре» при книге «Русско-индийские отношения в XVII в.» встречаем словарное толкование: «*Курди корсачьи* — мех с хвостовой части корсака (лисицы)». Данное толкование, вероятно, возникло при опоре на маловыразительные контексты документов этого издания типа: *2 курди корсачьи*²⁷, *6 курдей*²⁸ в перечнях товаров, а также на «этимологические соображения» по созвучию со словом *курдюк*, хотя у лисиц-корсаков курдюков нет. Такому толкованию противоречит и упоминание в перечне разного количества *курдей корсачьих черевьих*²⁹ и даже *курдей белых хрептовых*³⁰, *курдей белых черевьих*³¹, делая предложенное в издании толкование совершенно невозможным.

Гораздо более обоснованной представляется догадка составителей «Словаря русского языка XI–XVII вв.»³², отождествивших загадочную лексему *курдя* (на основании иного контекста) с более известным и сейчас вариантом наименования одежды *куртка*, *курта* (с представляющимся теперь излишним вопросительным знаком осторожности).

Идентификация загадочного слова *курдя* с более распространенным названием одежды *куртка*, *курта* оказывается небесполезной и для этимологизации последнего — в пользу предположения о его восточном происхождении. Форма *курдя* резко противоречит выведению слова *курта*, *куртка* из латинского *curtus* «короткий» (со слишком абстрактным значением и применяемым не только и не столько к одежде) через польское посредство³³.

Если трудности в истолковании старых текстов и отдельных словоупотреблений для лингвиста-историка весьма велики даже при рассмотрении вполне аутентичных исконных текстов, то такие трудности значительно возрастают в случаях, когда текст восходит к не вполне компетентному в данном языке автору, обычно иностранцу, который оставил старые записи материала для того языка, к которому у него возникал лишь эпизодический интерес. Изучать подобного рода материал в высшей степени трудно, и от исследователя требуется чрезвычайно большая осторожность в оценке такого не вполне полного по части достоверности материала, в противном случае могут возникать досадные ошибки, особенно в записях редко употребляемых слов. В качестве примера здесь будет весьма показательным привести одну характерную ошибку, допущенную даже таким опытным языковедом, каким был Б. А. Ларин, при анализе русского словарного материала, собранного в начале XVII века на Русском Севере англичанином Ричардом Джемсом, который записал русское слово *porte* с толкованием по-английски «род острого ножа, среди них бывают очень длинные». Б. А. Ларин считал написание *porte* ошибочным, поскольку Ричард Джемс часто смешивал в русских словах *о* и *у*, но сейчас этимологические соображения позволяют подтвердить возможность сосуществования названия *портъ* «топор» или *пуртъ* «нож»³⁴.

²⁷ Русско-индийские отношения в XVII в. Сборник документов. М., 1958. № 160. С. 264.

²⁸ Там же. № 162. С. 265.

²⁹ Там же. № 149, 150, 152, 153. С. 259–260.

³⁰ Там же. № 193. С. 292.

³¹ Там же. № 196. С. 294.

³² Словарь русского языка XI–XVII в. М., 1981. Вып. 8. С. 136.

³³ Фасмер М. Р. Этимологический словарь русского языка. М., 1967. Т. II. С. 429–430. О. Н. Трубачев как переводчик усилил материал в пользу восточного происхождения слова *куртка*.

³⁴ Ларин Б. А. Русско-английский словарь-дневник Ричарда Джемса (1618–1619 г.). Л., 1959. С. 97, 196, 204, 263. Этимологические соображения о правомерности и точности формы у Ричарда Джемса см.: Добродомов И. Г. К изучению лексики «Русской правды» (*пѣртъ* 'топор' и *пѣртъ* 'одежда') // Восточнославянское и общее языкознание. М., 1978. С. 133–136.

В настоящее время привлечение новых документальных памятников XVII века позволило окончательно подкрепить обоснованное ранее лишь этимологически существование слова *пуртъ* в русском языке XVII века, поскольку это слово встретилось в изданном Норвежской Академией наук сборнике «Русские акты XVII столетия, касающиеся истории Финмаркена и Кольского полуострова». Впрочем, редкость этого слова вызывала какие-то сомнения и здесь у издателей в примечаниях к «Памети Агия Лаловина что взяли нѣмци и грабили королевские люди на кол(ь)ко живота его взяли» 1623 г., и в самом тексте, где в напечатанном перечне пропавших вещей читаем: «да ножикъ (?) пуртъ цена 8 (?) денег(ѣ)» (с норвежским переводом: *og en liten kniv «purt» pris 8 deŋga*, причем к слову «purt» сделано примечание: *Ordet er oss ukjent* — «Слово нам неизвестное»³⁵, хотя слово *пуртъ* (с определением *зырянский*) упоминалось историком С. В. Бахрушиным как наименование одного из предметов снаряжения русских промышленников в Сибири XVII в., но соответствующие документальные источники не названы³⁶.

Во многих случаях, особенно в старинных литературно-художественных текстах, для понимания отдельного слова необходимо учитывать весьма значительный контекст с общим авторским замыслом. Привлекаемый материал должен быть значительно увеличен, если при толковании слова приходится исправлять отдельные укоренившиеся ошибки и преодолевать некоторые спекулятивные теории, в рамки которых не укладывается фактический материал.

Литературное произведение старинной литературы представляет собой довольно сложное целое, единство которого обусловлено идейно-эстетической задачей, стоящей перед создателем этого творения художественного слова. Основой литературно-художественного творения является речь, а ее первоэлемент — слово, выступающее как основная единица языка с номинативной функцией. Общая идея произведения и составляющие это произведение слова находятся в сложных диалектических взаимоотношениях, в условиях которых общий контекст произведения сам создается из тех слов, которые зависят от контекста. Эта сложнейшая диалектическая взаимозависимость станет гораздо более детерминированной, если ее рассмотреть в двух аспектах: с точки зрения создания произведения и с точки зрения его восприятия. В процессе создания произведения доминирующим оказывается идейно-эстетический замысел произведения, заставляющий автора заботиться о подборе слов, лучше всего способных выразить и раскрыть этот замысел. В процессе восприятия словесного произведения читателем для последнего доминирующим оказываются слова, через восприятие которых читатель доходит до смысла, заложенного в произведении его автором. Но это не означает, что слово не оказывает влияния на авторскую мысль, а усвоение читателем мысли автора не влияют на дальнейшее восприятие отдельных слов.

В этих переплетениях авторских намерений и читательского восприятия обнаруживаются такие западни для исследователя, что последний может обратиться и к ложной теории.

На IV Всесоюзном совещании по древнерусской литературе, проходившем 27–30 мая 1958 года в Пушкинском доме (Институте русской литературы) Академии наук СССР в Ленинграде, известный литературовед Д. С. Лихачев выступил с докладом «Литературный этикет русского средневековья». Эта тема прозвучала 5 мая 1960 г. в Институте болгарской литературы Болгарской академии наук (София), а также в августе 1960 года на Международной конференции по поэтике в Варшаве. Материалы докладов неоднократно переиздавались в качестве отдельных статей или разделов книги Д. С. Лихачева о поэтике древнерусской литературы³⁷.

³⁵ Broch O. og Stang Chr. S. Ryssiske aktstykker fra det 17 de århunrede till Finnmarken og Kolahalvøens historie. Oslo, 1961. S. 41, 56.

³⁶ Бахрушин С. В. Снаряжение русских промышленников в Сибири в XVII веке // Исторический памятник русского арктического мореплавания XVII в. М.; Л., 1951. С. 89. Это слово не учтено в специальной статье Г. Ф. Одинцова «К истории древнерусских названий боевых ножей» (Этимология 1980. М., 1982. С. 120–134).

³⁷ Азбелев С. Н. Четвертое Всесоюзное совещание по древнерусской литературе // Известия Академии наук СССР. Отд. литературы и языка. М., 1959. Вып. 6. Т. XVIII. С. 550–551; Лихачев Д. С. Литературный этикет в староруската книжнина // Език и литература. София, 1960. № 4. С. 255–268; Лихачев Д. С. Литературный этикет русского средневековья // Poetics, Poetyka, Поэтика. Warszawa, 1961. С. 637–649; то же во втором издании: Poetics, Hague, 1963 (оба последних

В этой работе Д. С. Лихачев несколько преувеличенно говорит о роли этикета — строго регламентированного порядка поведения и форм обхождения в определенном обществе — в период феодализма, облекая свои соображения в красивые схемы: «Взаимоотношения людей между собой и их отношения к богу подчинялись этикету, традиции, обычаю, церемониалу, до такой степени развитым и деспотичным, что они [?] пронизывали собой [что? — И. Д.] и в известной мере овладевали мировоззрением и мышлением человека. Из общественной жизни склонность к этикету проникает в искусство. Изображение святых в живописи в какой-то степени подчиняется этикету: иконописные подлинники предписывают изображение каждого святого в строго определенных положениях, со всеми присущими ему атрибутами³⁸. Этикету подчинялось также и изображение событий из жизни святых или событий священной истории. [...] Это была одна из основных форм идеологического принуждения в средние века. Этикетность присуща феодализму, ею пронизана жизнь. Искусство подчинено этой форме феодального принуждения. Искусство не только изображает жизнь, но и придает ей этикетные формы.

Если мы обратимся к литературе и литературному языку эпохи раннего феодализма, то и тут обнаружим ту же склонность к этикету. Литературный этикет и выработанные им литературные каноны — наиболее типичная средневековая условно-нормативная связь содержания с формой»³⁹.

Далее, развивая наблюдения В. О. Ключевского и А. С. Орлова, Д. С. Лихачев в качестве проявления требований «литературного этикета» отмечает употребление так называемых житийных или воинских формул в описаниях ситуаций соответствующей тематики: «Один и тот же летописец не только применяет различные формулы — житийные, воинские, некрологические и т. д., но и по несколько раз меняет всю манеру, стиль своего изложения в зависимости от того, пишет ли он о сражении князя или о его смерти, передает ли содержание его договора или рассказывает о его женитьбе.

Но не только выбор устойчивых стилистических формул определяется литературным этикетом, — меняется и самый язык, которым автор пишет. Легко заметить различия в языке одного и того же писателя: философствуя и размышляя о бренности человеческого существования, он прибегает к церковнославянизмам, рассказывая о бытовых делах — к народнорусизмам»⁴⁰. Из этого далее делается весьма странный решительный вывод: «Литературный язык отнюдь не один»⁴¹, — который показывает, что обывательское отождествление языка как общей системы выражения и стиля, как частной разновидности языка распространено и среди филологов: за разными стилями могут видеться разные языки.

Не вдаваясь в дискуссию по поводу последнего вывода, что может быть предметом специального рассмотрения, следует разъяснить, что на самом деле Д. С. Лихачев говорит о требовании соответствия языковых средств объекту изображения и общей тональности изложения, описания. Эти требования носят фактически универсальный стилистический характер, и едва ли стоит связывать их с феодальным этикетом даже в его загадочной литературной модификации. Это общие требования языковой стилистики относительно подбора языковых средств в соответствии

издания мне остались недоступными). Лихачев Д. С. Литературный этикет древней Руси (к проблеме изучения) // ТОДРЛ. Т. XVII. С. 5–16; Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. Л., 1967. С. 84–108; 2-е изд. Л., 1971. С. 95–122; 3-е изд. М., 1979. С. 80–102. Переиздано также: Лихачев Д. С. Избранные работы в трех томах. Т. I. Л., 1987. Существуют также оставшиеся мне недоступными сербскохорватский (Поэтика староруске књижевности. Београд, 1972) и чешский (Poetika staroruské literatury. Praha, 1975) переводы книги.

³⁸ Ср. противоположные этому слова старообрядца «изографа Севастьяна» в главе 13 «Очарованного странника» Н. С. Лескова, отражающие, впрочем, практику XIX в.: «Это, — говорит, — только в обиду нам выдуманно, что мы будто по переводам точно по трафарету пишем. А у нас в подлиннике постановлен закон, но исполнение его дано свободному художнику. По подлиннику, например, повелено писать святого Зосиму или Герасима со львом, а не стеснена фантазия изографа, как при них того льва изобразить? Святого Неофита указано с птицею-голубем писать, Конона Градаря, с цветком, Тимофея с ковчежцем, Георгия и Савву Стратилата с копьями, Фотия с корнавкой, а Кондрата с облаками, ибо он облака воспитывал, но всякий изограф волен это изображать как ему фантазия его художества позволит...» (Лесков Н. С. Собрание сочинений. М., 1957. Т. IV. С. 372–373).

³⁹ Здесь и далее цитируется: Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. 3-е изд. М., 1979. С. 80–81.

⁴⁰ Там же. С. 81–82.

⁴¹ Там же. С. 82.

с предметом изображения и поставленными задачами. Именованье эти стилистические правила «литературным этикетом» означало бы уходить от чисто языковых категорий, сводить дело к механистичности литературного творчества в феодальном обществе, что представляется неоправданным и до какой-то степени осознавалось самим Д. С. Лихачевым, который, даже противореча самому себе, приписал «литературному этикету» какое-то творческое начало вопреки механистичности любого этикета, исключая творческие моменты: «Было бы неправильно усматривать в литературном этикете русского средневековья только совокупность механистически повторяющихся шаблонов и трафаретов, недостаток творческой выдумки, “окостенение” творчества и смешивать этот литературный этикет с шаблонами отдельных бездарных произведений XIX в. Все дело в том, что все эти словесные формулы, стилистические особенности, определенные повторяющиеся ситуации и т. д. применяются вовсе не механически, а именно там, где они требуются. Писатель выбирает, размышляет, озабочен общей “благообразностью” изложения. Самые литературные каноны варьируются им, меняются в зависимости от его представлений о “литературном приличии”. Именно эти представления и являются главными в его творчестве. Вот почему мы предпочитаем говорить о литературном этикете, а не просто о литературных трафаретах и шаблонах, которые, кстати сказать, могут не только творчески меняться, но и вовсе отсутствовать (!) в повествовании о том или ином сложном событии. Военская формула или повторяющаяся ситуация — это только часть литературного этикета, при этом иногда не самая даже главная. Повторяющиеся формулы и ситуации вызываются требованиями литературного этикета, но сами по себе еще не являются шаблонами. Перед нами творчество, а не механический подбор трафаретов — творчество, в котором писатель стремится выразить свои представления о должном и приличествующем, не столько изобретая новое, сколько комбинируя старое»⁴².

Эти уточнения стирают грани между загадочным «литературным этикетом» и не менее загадочным в этих условиях творчеством, которые в последних высказываниях Д. С. Лихачева как бы присутствуют в подтексте и фактически уничтожают какую бы то ни было содержательность безгранично понимаемого «литературного этикета», яркого по форме, но тусклого по содержанию.

Термин «литературный этикет» для характеристики языкового и стилистического чутья древнерусских писателей употреблен явно неудачно, поскольку он, будучи плодом творчества литератора середины XX века на базе элегантных новых слов иностранного происхождения и поэтому анахроничным, отрывает стилистику древнерусских текстов от стилистических категорий древнерусского литературного языка и делает эти понятия как бы автономными. Если стилистические категории языка самым непосредственным образом связаны исторически с судьбами этого языка, изменяясь и совершенствуясь вместе с ним в соответствии с потребностями литературного развития, то совсем иной категорией представляется «литературный этикет», который обусловлен совершенно механическим подбором конкретно-исторических парадных представлений правящего класса определенной эпохи и не имеет тенденции к органическому развитию. Если языки, постоянно обновляясь, допускают сосуществование различных хронологических элементов (нового и старого), которые после определенного периода сосуществования сменяют друг друга, то в механически составленных «этикетах» введение нового разрушает строгую регламентированность действий, отрицает их этикетность. Не случайно даже сам Д. С. Лихачев вынужден был применительно к «Казанской истории» тут же говорить о «крушении этикетности», «падении этикета» (С. 97), «нарушении литературного этикета» (С. 98) и даже «разрушении литературного этикета» (С. 101)⁴³ там, где трактуются проблемы развития стиля и стилистического арсенала в целом в связи с появлением потребностей в новых средствах для развивающихся новых литературных жанров.

⁴² Там же. С. 90–91.

⁴³ В предисловии к седьмому тому научно-популярных «Памятников литературы Древней Руси. Середина XVI века» (М., 1985. С. 9–12) Д. С. Лихачев активно и молчаливо отказался от усмотрения в «Казанской истории» загадочного «разрушения литературного этикета», но сохранил это усмотрение в переизданиях «Поэтики древнерусской литературы».

Неудачный, но звучный термин «литературный этикет» не позволил Д. С. Лихачеву дать правильную оценку такого сложного произведения русской публицистики XVI века, каким выступает «Казанская история», где Д. С. Лихачев видит всего лишь «нарушение» и «разрушение» литературного этикета, проявляющиеся, по мнению Д. С. Лихачева, в том, что казанцы изображаются здесь как сильный и мужественный противник московского царя Ивана Грозного. Но такое изображение казанцев вполне соответствовало замыслу автора. Последний именно и хотел особенно наглядно показать значение деятельности Ивана Грозного, сумевшего победить сильного и опасного врага, а не просто какого-то абстрактного жалкого супостата.

Общая недооценка новаторской сущности «Казанской истории», вызванная попыткой применить к анализу произведения явно неподходящее сюда невнятное и смутное понятие «литературный этикет» в связи с неудачным его словесным обозначением, привела Д. С. Лихачева в дальнейшем и к ошибочной трактовке отдельных слов этого памятника, обусловленной общим неправомерным подходом к памятнику в соответствии с мало подходящей для дела теорией «литературного этикета» даже в слишком широком его понимании.

Одно из нарушений литературного этикета Д. С. Лихачев видит в объективном изображении автором «Казанской истории» врагов и в объективной передаче их высказываний: «Речи казанцев необычны для врагов. Они исполнены воинской доблести и мужества, верности родине, ее обычаям и религии. Казанцы говорят друг другу, укрепляя себя на брань: “Не убоимся, о храбрые казанцы, страха и прещения московского **УГАУБИ** (так! — Д. Л.) и многия его силы руския, аки моря биющегося о камень волнами и ако великаго леса шумяща напрасно, селик имуща град наш тверд и велик, ему же стены высокая и врата железная и люди в нем удалы вельми и запас мног и доволен стати на десять лет в прекормление нам. Да не будем отметницы добрыя веры наша срацынская и не пощадим пролити крови своя, да ведоми не поидем в плен работати иноверным на чужей земли, христианом, по роду меньшим нас и украдшим благословение”⁴⁴». В русле общей концепции о разрушении «литературного этикета» непонятное слово *угауби* из 75 главы «Казанской истории» «О бестрашии и о роптании казанцев, о укреплении между собою» получает у Д. С. Лихачева в подстрочном комментарии к этой цитате беглое толкование как вероятное (по-видимому!) «переданное тайнописью бранное выражение», хотя оснований для такого странного вывода нет никаких, кроме сомнительного предположения о разрушении еще более подозрительного «литературного этикета». Расшифровки этого «бранного выражения» у Д. С. Лихачева не дается. В трех списках первой редакции «Казанской истории», изданных Г. З. Кунцевичем в составе «Полного собрания русских летописей» (Т. 19, СПб., 1903. Стб. 147), загадочного слова нет: оно было опущено в некоторых случаях даже с окружающими его словами *Московского и многия его*. А между тем, загадочное *угауби* из «Казанской истории» в издании Г. Н. Моисеевой может получить более обоснованное объяснение вне рамок теории «литературного этикета». Здесь можно видеть допущенное переписчиком (а также издателем) искажение тюркского (татарского) титула *улу(г)би(и)* «великий князь» (из *улу(г)* «великий» + *би(й)* «князь, правитель» — в других тюркских языках *бей, бег, бек*), написанного с выносным *г*, а также с *л*, несколько похожим на *а*, т. е. *УЛУГБИ*, которое было искажено в результате дальнейшего сближения *л* с *а* и затруднения при внесении выносной буквы *г* в строку⁴⁵.

Безапелляционная расшифровка появилась в 1985 году в седьмом томе («Середина XVI века») популярного издания «Памятники литературы Древней Руси» под редакцией

⁴⁴ Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. 3-е изд. М., 1979. С. 100. Со ссылкой на кн.: Казанская история, Подгот. текста, вступит. статья и примеч. Г. Н. Моисеевой. М., Л., 1954. С. 146.

⁴⁵ Добродомов И. Г., Сергеев И. Т. Заметки об отдельных диалектизмах Среднего Поволжья // Исследования по этимологии чувашского языка. Чебоксары, 1981. С. 145–146 (= Взаимовлияние языков: лингвосоциологический и педагогический аспекты. Чебоксары, 1984. С. 14–16); Добродомов И. Г. Слово и общий контекст литературного произведения // Функционирование фразеологических единиц в художественном и публицистическом тексте. Челябинск, 1984. С. 122–132; Добродомов И. Г. *Улу(г)бий* // Проблемы этимологии тюркских языков. Алма-Ата, 1990. С. 302–306.

Л. А. Дмитриева и Д. С. Лихачева, где в публикации «Казанской истории» по рукописи F. IV. 578 из хранилища Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Санкт-Петербурге на месте загадочного слова *уа·уби* рукописи в печатном тексте читается набранное курсивом *царя*, но о методике расшифровки, а также о прежнем истолковании загадочного слова как ругательства не сказано ничего⁴⁶. Можно предполагать, что здесь оказались доведенными до непопозвольной крайности мои конъектуральные соображения о возможности прочтения здесь татарского титула *улу(г)би*, который употреблялся применительно и к московскому царю. Однако последнее слово было возможно только в переводе, но не в тексте, где не только научное, но и популярное издание должно отразить начертание рукописи и дать к нему в примечаниях конъектуру, как это должно было бы иметь место в данном случае.

Ни «переданное тайнописью бранное выражение», ни его несколько экстравагантная расшифровка словом *царь* не опираются ни на какие факты, а конъектуральное чтение опирается на слово *улу(г)би*, которое более или менее хорошо известно из памятников древнерусской письменности, хотя и вызывало затруднения у исследователей.

На близкий по звучанию термин *улуубий*, встречающийся в несколько иной форме в сочинениях А. Курбского при описании казанского похода, в свое время обратил внимание казанский лингвист И. И. Назаров:

«**Улубий.** Сказ. Курб. О покорении Казани. Термин *улубий* относится к обозначению татарской знати. По своему морфологическому составу термин *улубий* двухкорневой — первый корень *улу*, сравни современ. турецкое *улу (улул)*, употребляющийся со значением «великий»; второй корень *бий*, употребляющийся в языке крымских татар, в туркменском и других тюркских языках со значением «чиновник» или, точнее, «военный чиновник»⁴⁷. В целом же термин *улубий* осмысливается как большой военный чиновник или просто князь. То, что *улубий* имел отношение к военному делу, явствует из следующей цитаты из Сказания Курбского: «Царь Казанский затворился во граде, со тремядесять тысящей... воинов, а другую половину оставил вне города... также и те люди, яже Нагайский *улубий* прислал на помощь ему»⁴⁸.

Дальнейшее не критическое развитие эти соображения И. И. Назарова получили у Ф. П. Сороколетова, который напрасно усилил неточную мысль И. И. Назарова о принадлежности титула *улубий* к военной терминологии, не проверив исходный материал по другим источникам и более исправным изданиям. Не учел Ф. П. Сороколетов и необходимость обращения к более совершенным изданиям сочинений А. Курбского типа 31 тома «Русской исторической библиотеки», где учтено большое количество рукописей, в том числе и рукописи с глоссами на полях: «Царь же Казанский затворился во граде, со тремядесять тысящей избранных своих воиновъ и со всѣми карачи духовными ихъ и мирскими и зъ дворомъ своимъ; а другую половину воиска оставил внѣ града на лѣсехъ, также и тѣ людѣ, яже Нагайский улубий прислалъ на помощь ему...» В подстрочном примечании к слову *улубий* сказано, что на поле списка из собр. Погодина № 1494 (РНБ) есть глосса: *князь*⁴⁹. Эта глосса оказывается не вполне точной, поскольку раскрывает семантику лишь второго компонента разбираемого слова — *бий* и не касается первого компонента *улу(г)* — «великий».

⁴⁶ ПЛДР: Середина XVI века. М., 1985. С. 506 (текст), 507 (перевод). Издание далеко от научного, см. об этом: Добродомов И. Г., Кучкин В. А. «Казанская история» и основание Казани // Герменевтика древнерусской литературы. М., 1989. Сб. I. С. 468–469. В связи с этим оправдано мнение о том, что рукопись F. IV. № 578 считается неизданной: Иванов В. В., Сумникова Т. А., Панкратова Н. П. Хрестоматия по истории русского языка. М., 1990. С. 438.

⁴⁷ Радлов В. Словарь тюркских наречий. 1888. С. 1692 (Примечание И. И. Назарова).

⁴⁸ Назаров И. И. Тюрко-татарские элементы в языке древних памятников русской письменности // Ученые записки Казанского государственного педагогического института. Казань, 1959. Вып. 15. С. 255, со ссылкой: К 350-летию покорения Казани 1552–2/3 1902. Подлинная о Казанском походе запись царственной книги, 1552 г. и сказание князя Курбского о покорении Казани. М., 1902. С. 124. Однако цитата из сочинения А. М. Курбского дана сокращенно (не все сокращения отмечены) и весьма неточно.

⁴⁹ Сочинения князя Курбского. СПб., 1914. Т. I. Стб. 183.

Ф. П. Сороколетов фактически повторил как неточный материал, так и неточные выводы И. И. Назарова: «**Улубий** — двухкорневое слово: *улу* (ср. совр. тур. *улу*, *улуз*) «великий» и *баи* (крымско-татар. и другие тюркские языки) «чиновник» (Радлов. С. 1692). В целом в тюркских языках *улубий* осмыслялось как «(большой) военный чиновник (князь)». Ср. в Истории кн. Курбского: «Царь Казанский затворился во градъ, со тремядесять тысящей... воинов, а другую половину войска оставил вне города... также и те люди, яже Нагайский *улубий* прислалъ на помощь ему» (Подлинная о Казанском походе запись царственной книги, 1552 и История кн. Курбского о Покорении Казани. К 350-летию покорения Казани 1552-2/3-1902. М., 1902. С. 124). Но, по всей видимости, это слово никогда не было элементов русского языка. В языке кн. Курбского это Fremdwort»⁵⁰.

Употребление титула «великий князь» в тюркско-татарском книжном звучании *улуби*, которое, вероятно, было знакомо автору «Казанской истории», пробывшему в казанском плену 20 лет, вполне естественно в устах казанцев и не содержит ничего бранного.

Предложенная здесь конъектура для правильного истолкования загадочного «слова» *улуби* нашла частичное подтверждение при обращении к тем рукописям «Казанской истории», где читается цитированный Д. С. Лихачевым пассаж с этим словом. Так, в рукописи «Казанской истории», хранящейся под шифром F. IV. 578 в Государственной публичной библиотеке имени М. Е. Салтыкова-Щедрина в С.-Петербурге, загадочный термин *улуби* имеет выносную букву *г* над *а* (Л. 257). Это начертание (*у^глуби*) несколько необычно, поскольку выносилась над строкой, как правило, первая буква из сочетания двух согласных и становилась вблизи второй буквы⁵¹. Что касается рукописи из Древлехранилища Института русской литературы (Пушкинского Дома) Академии наук СССР (колл. В. Н. Перетца. № 98 — у Г. Н. Моисеевой Q. 26. II), которая легла в основу издания Г. Н. Моисеевой, то в ней начертание интересующего нас загадочного слова *улуби* (*у^глуби*) содержит выносную букву *г*, которая обычно читается как *го*⁵². Можно подумать, что Г. Н. Моисеева прочтение загадочного слова сделала по рукописи РНБ. F. IV. 578, но не оговорила этого. Хотя буква *а* в этом титуле в обоих рукописях читается достаточно отчетливо, наличие выносной буквы *г* в необычном начертании и в несколько необычных условиях следует считать частичным подтверждением правильности предложенной конъектуры. Можно также думать, что выносное *г* в несколько необычных условиях возникло вторично из какого-то случайного надстрочного начертания, к тексту не относящегося. Буква *л*, похожая на *а*, вероятно, читалась уже в более ранних рукописях.

Загадочный титул *улубий* (в народном произношении) или *улубий* (в менее правдоподобной для русского текста книжной форме) создавал трудности и в ряде других контекстов, где речь шла о тюркских народах.

Титулы, особенно из малоизвестных языков, часто воспринимаются не вполне точно. Тот же самый «татарский» титул *улу(г)бий* вызвал недоумение при издании Е. Ч. Скржинской сочинения венецианца XV в. Иосафата Барбаро под названием «Путешествие в Тану» (*Viaggio alla Tana*), где читаем в оригинале: «La campagna de questa insula de Capra fi signorezata per tartari i hano un signore, nominato Ulubi, che fu figliol de Azicharei». В переводе: «Степь на “острове Каффы” подвластна татарам. Их правителем является Улуби, сын Азихарая»⁵³. К процитированному месту в издании сделано

⁵⁰ Сороколетов Ф. П. История военной лексики в русском языке XI–XVII в. Л., 1970. С. 256.

⁵¹ Фактическое чтение этой рукописи даже не упомянуто в ее популярном издании под редакцией Л. А. Дмитриева и Д. С. Лихачева (ПЛДР: Середина XVI века. С. 506), где содержится лишь произвольное и странное чтение в виде напечатанного курсивом слова *царя* вместо якобы «переданного тайнописью бранного выражения», о чем неоднократно говорил Д. С. Лихачев.

⁵² Автор благодарен Г. Ф. Одинцову и В. В. Колесову, которые по его просьбе смотрели названные рукописи «Казанской истории» в хранилищах Санкт-Петербурга и сообщили о начертании в них призрачного «слова» *улуби*.

⁵³ Барбаро и Контарини о России. К истории итало-русских связей в XV в. Вступительные статьи, подготовка текста, перевод и комментарий Е. Ч. Скржинской. Л., 1971. С. 129 (текст), 154 (перевод).

следующее примечание (об имени Ulubi — Улуби): «Это имя крымского хана не выясняется по источникам. Возможно, что это был один из десяти сыновей Хаджи Гирея (ум. В 1466 г.)»⁵⁴.

Неудача поисков, однако, объясняется совсем простым обстоятельством: здесь мы имеем дело не с именем *Улуби*, а с составным титулом *улу+би* «великий князь».

И. Барбаро знал «татарский» язык и часто (но не всегда!) давал этимологические справки к приводимым тюркским словам, особенно к ономастике. В сочинениях И. Барбаро можно найти следы его знакомства с обоими компонентами титула *улуби*. В его описании Северного Причерноморья читаем: «Signorezava in le campagne dela Tartaria del 1438 uno imperador, nominato Ulumahameth can, zoi gran Machometo imperador» — «В степях Татарии в 1438 г. правил хан по имени Улумахмет-хан, что значит великий Магомет император»⁵⁵. Следовательно, значение первого компонента *улу* титула *улуби* хорошо осознавалось опытным венецианцем. Что Иосафат Барбаро четко представлял себе семантику также и второго компонента *би* титула *улуби*, можно видеть по приводимым Е. Ч. Скржинской из другого сочинения И. Барбаро «Путешествие в Персию» сведениям об одном из монгольских правителей «по имени» *Туменби*, относительно которого «Барбаро тут же поясняет, что это значит “начальник десятитысячного войска”»⁵⁶. В первом компоненте этого «имени» явно обнаруживается тюркское слово *тямән* «10000». Вероятно, также и данное «личное имя» *Туменби* фактически представляет собой тюркский титул, которому на Руси соответствовало образование *тьмьникъ*, *темник* от названия десяти тысяч *тъма*. Вторую часть *би* титула *туменби*, совпадающую с концом титула *улуби*, И. Барбаро довольно точно (в передаче Е. Ч. Скржинской) переводил как «начальник». Следовательно, титул *ulubi* (*улуби*) из записок Иосафата Барбаро должен быть исключен в издании Е. Ч. Скржинской из «Указателя имен»⁵⁷ и помещен в «Предметно-терминологический указатель»⁵⁸.

К сказанному следует добавить, что в небольшом русско-тюркском словарики-разговорнике «Се татарскы ѡзыкъ» (по сборной рукописи XV—XVI века Новг. Соф. собора № 1462), изданном П. К. Симони с комментариями Ф. Е. Корша, несколько раз встречаем интересующий нас титул: **княз великыи — ѡлубѣ а кнгѣни великаа — ѡлубинча** и далее в составе фраз разговорника-диалога: **что за члкъ 'еси — не киши-сень; княз великаа — ѡлубингкъ; княз великыи где — ѡлуби санда-диръ**⁵⁹. Соответствующие татарские слова и фразы в интерпретации Ф. Е. Корша у П. К. Симони выглядят следующим образом: *улу бий, улу бийк ä; нä киши-сән?*; *улу бийнин; улу бий кайда-дыр* (С. 183—184). Здесь не со всеми интерпретациями Ф. Е. Корша можно согласиться: во-первых, это касается отдельного написания титула *улуби* и восстановления в конце его звука *-й*, для которого есть все основания фонетически сливаться с предшествующим гласным *и* в единый долгий гласный *й̄*. Во вторых, едва ли стоило подменять тюркский суффикс для лица женского пола *-чä* в титуле *улубича* другим суффиксом *-кä* с тем же значением⁶⁰, подгоняя старые словарные формы под современные, но это уже выходит за пределы трактуемой проблемы, хотя и заслуживает внимания как искажение фактического материала.

Следует дополнительно заметить, что и в XVII веке входившее в состав длинного титула русского царя сочетание *великий князь* переводилось на среднеазиатский вариант письменного

⁵⁴ Там же. С. 179.

⁵⁵ Там же. С. 117, 140.

⁵⁶ Там же. С. 172.

⁵⁷ Там же. С. 256.

⁵⁸ Там же. С. 273.

⁵⁹ Симони П. К. Памятники старинной русской лексикографии по рукописям XV—XVII столетий // Известия Отделения русского языка и словесности императорской Академии наук. СПб., 1908, Кн. 1. Т. XIII. С. 181. Переиздан с анализом в кн.: Ковтун Л. С. Русская лексикография эпохи средневековья. М., Л., 1963. С. 322—326. Ср. также: Алексеев М. П. Словари иностранных языков в русском азбучнике XVII века. Л., 1968. С. 20—29; Pritsak O. Се татарскы ѡзыкъ // Orbis scriptus. Festschrift für Dmitrij Tschihewskij zum 70. Geburtstag. München, 1966.

⁶⁰ См. Рамстедт Г. И. Введение в алтайское языкознание. М., 1957. С. 192.

языка тюрки сочетанием *ولوغ بى* *улу(г) бий* и наоборот, чему большое количество примеров можно найти в «Материалах по истории Узбекской, Таджикской и Туркменской ССР», изданных в Ленинграде в 1932 году в качестве 3-го выпуска «Материалов по истории народов СССР» в «Трудах Историко-археографического института и Института востоковедения АН СССР». В связи с этим буквальный перевод А. Н. Самойловичем тюркского сочетания *ولوغ بى* *улу(г) бий* в составе титула русского царя сочетанием *великий бий* (см. например, на с. 174 указанного издания) вызывает возражения из-за неуместной модернизации и экзотичности.

Приведенный пример со словом *улу(г)бий* наглядно показывает, как опасно подходить к истолкованию темных мест произведения с заранее подготовленным пониманием в связи с общим взглядом на произведение, поскольку далеко не все детали работают на эту общую идею, особенно если эта идея не вытекает органически из анализа всего текста, а высказывается априористически и, обладая внешней привлекательностью, заставляет исследователя интерпретировать литературный материал предвзято, хотя другие трактовки подчас представляются более обоснованными.

Общеизвестно восточное влияние на русский посольский церемониал и дипломатическую практику, хотя соответствующая терминология систематизирована и проанализирована недостаточно, особенно применительно к сношениям со странами Востока, хотя кое-что в этой области уже сделано⁶¹.

«Словарь русского языка XI–XVII вв.»⁶² обращает внимание на оставшийся без какого бы то ни было объяснения (при слове стоит многозначительный знак вопроса) глагол *кутловати* с одной иллюстративной цитатой от 1518 года из второго тома так называемых «Крымских дел», изданных Русским историческим обществом под названием «Памятники дипломатических сношений Московского государства с Крымом, Нагаями и Турциею» (1508–1521 г.): «А мнѣ брата своего Абды-Летифа царя послать, толке будеть из Козани кутловать Барына или Кибчаку»⁶³.

Выяснение значения этого не отмеченного другими русскими словарями редкого глагола упирается в отсутствие каких бы то ни было словарей для крымско-татарского языка, с помощью которого и можно легко найти точный ключ к пониманию этого слова. Несколько помогает делу недавно вышедший «Караимско-русско-польский словарь»⁶⁴, отражающий лексику тесно связанного с Крымом караимского языка. Действительно, в караимском языке отмечен глагол *кѳутла* — «1) праздновать; 2) поздравлять» (также в форме *кутла* — «1) посвящать; 2) освящать; приветствовать»). Также исторически связанный с Крымом ногайский язык, по данным «Ногайско-русского словаря»⁶⁵, имеет глагол *кутла* — «поздравлять, приветствовать». Можно также привлечь материалы татарского (*котла* — «поздравлять, приветствовать, желать счастья») и башкирского (*котла* — «приветствовать, поздравлять») языков, которые помогают аналогичным образом вскрыть семантику глагола *кутловать* из Крымских дел (в «Словаре русского языка XI–XVII вв.» исходная словарная форма *кутловати* вместо реально представленной в тексте *кутловать* является результатом намеренной архаизации). Следовательно, этимологический подход к глаголу *кутловать* с опорой на тюркский глагол *кут-ла* — (от общетюркского существительного *кут* «счастье») дает возможность загадочному слову *кутловать* из «Крымских дел» приписать значение «поздравлять» и внести ясность в соответствующую словарную статью академического «Словаря русского языка XI–XVII вв.», которая отражает довольно редкий термин дипломатического этикета.

⁶¹ Веселовский Н. И. Татарское влияние на посольский церемониал в Московский период русской истории // Отчет о состоянии и деятельности Имп. С.-Петербургского университета за 1910 год. СПб., 1911. Отд. X. С. 1–19; Кононов А. Н. О слове *карашеваться* // Русская речь. 1973. № 3. С. 116–118. Восточные дипломатические термины, употреблявшиеся и в русских текстах, недостаточно хорошо учтены в больших исследованиях Ф. П. Сергеева, последнее из которых («Формирование русского дипломатического языка») вышло во Львове в 1978 году отдельной книгой.

⁶² Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1981. Вып. 8. С. 148.

⁶³ Сборник императорского Русского исторического общества. СПб., 1896 Т. 95. С. 500.

⁶⁴ Караимско-русско-польский словарь. М., 1974.

⁶⁵ Ногайско-русский словарь. М., 1963.

Отдельные примеры трудностей, с которыми встречается при анализе древних текстов их исследователь, преодолеваются как углубленным внутренним анализом текстов, так и привлечением материала тюркских и других языков и использованием этимологической методики. Обогащая наши представления о составе тюркизмов русского языка на разных этапах его развития, этимологические экскурсы позволяют объяснить ряд не вполне ясных мест в памятниках письменности и демонстрируют плодотворность филологических комментариев для исторических документов. Наличие большого числа еще не вполне обследованных документов и литературных памятников дает надежду, что число тюркизмов еще будет в дальнейшем увеличено, и тюркологи должны сказать здесь свое слово.

Разработанный здесь филологическими методами языковой материал в зависимости от степени подробности и точности этого анализа может давать почву как для ошибочных выводов, так и для выводов точных, причем в последнем случае анализ должен быть многоаспектным, с помощью чего можно добиться устранения противоречий в анализе всех сторон одного факта или эти противоречия исторически объяснить